

Н. П. КОНРАД

О ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ В КИТАЕ И ЯПОНИИ

1

В европейских работах по китайскому и японскому языкам широко употребляются термины «литературный язык», «письменный язык». Западноевропейскими китаистами и японистами употребляется преимущественно второй термин («written language», «langue écrite», «Schriftsprache»), русскими — главным образом первый.

Но тем и другим термином обозначается одно явление языковой действительности, именуемое в Китае «вэньянь» и в Японии «бунго». Слова эти в обоих языках совершенно однородны — не только по значению и употреблению, но даже и этимологически. «Литературный язык» и «письменный язык» являются не более, чем переводами этих слов, причем переводами, исходящими из их этимологии. Корневой элемент *вэнь*, *бун* в китайском и японском словах обозначает одновременно и «литература», и «письменность»; с этой стороны он аналогичен латинскому *litterae* (одновременно и «литература», и «литеры»). Поэтому для точного перевода слов «вэньянь», «бунго» нужен термин, который обозначал бы одновременно и то, и другое. Такого термина в европейских языках не нашли, почему появилось два перевода, впрочем, свободно употребляемые один взамен другого. Для того чтобы единство понятия, обозначаемого китайским и японским терминами, не ускользало от читателя, мы будем в дальнейшем условно передавать «вэньянь» и «бунго» по-русски выражением «письменно-литературный язык».

В европейских работах по китайскому и японскому языкам этот «письменно-литературный язык» всегда противопоставляется «языку разговорному»¹ («spoken language», «colloquial language», «langue parlée», «Umgangssprache»). И первое, от чего приходится исходить при изучении языковой действительности этих стран, состоит в констатации наличия в этой действительности обоих языков.

Однако всякий китаист или японист, которому пришлось наблюдать языковую практику в Китае и Японии в течение первой половины XX в., не только видел эти языки в действии, но и наблюдал их борьбу друг с другом. Письменно-литературный язык, господствовавший ранее в официальных и деловых документах, в публицистике, в художественной литературе, постепенно вытеснялся языком разговорным. В художественной литературе письменно-литературный язык уступил в конечном счете разговорному языку почти всю прозу и удержался лишь на некоторых участках

¹ Этот термин — также переводный и соответствует китайскому «байхуа», японскому — «ко:го». Этимологически «байхуа» раскрывается как «простая речь», «ко:го» — как «устная речь». Мы будем в дальнейшем употреблять в качестве перевода этих терминов русское выражение «разговорный язык».

поэзии. Отступая из научных работ, письменно-литературный язык упорно отстаивал свои позиции в газетной статье и отстаивал при этом столь успешно, что дело кончилось «компромиссом»: разговорному языку пришлось на этом участке «интегрировать» в свой состав некоторые элементы письменно-литературного языка. Если раньше письменно-литературный язык долго и нераздельно властвовал в официальной и деловой сфере, где все писалось по его нормам, начиная с текста закона и кончая квитанцией в приеме белья в прачечную, то в конечном итоге он не устоял и в этой своей цитадели. В Японии, например, новая японская конституция 1945 г., созданная после капитуляции, т. е. документ из разряда таких, которые всегда создавались строго по нормам письменно-литературного языка, оказалась написанной на разговорном языке.

Такой же процесс развернулся с конца второго десятилетия XX в. и в Китае. И конечным результатом его было аналогичное утверждение разговорного языка почти на всех участках, где раньше господствовал письменно-литературный язык.

Так обрисовывается второе положение, из которого должен исходить исследователь языковой действительности в Китае и Японии в последние 40—50 лет: он должен констатировать борьбу этих двух языков — письменно-литературного и разговорного, борьбу, в которой наступающей стороной явился разговорный язык и в результате которой письменно-литературный язык в конце концов вынужден был отступить по всему фронту.

Эта борьба не была притом «академической». И в Китае, и в Японии, как об этом свидетельствует вся современная история этих стран, вопросы языка не раз становились предметом самого широкого общественного внимания. В 80-х годах XIX в. в Японии, например, вспыхнул ожесточенный спор о том, какую из трех существующих в языке глагольных связок (*да*, *дэс*, *дэару*) следует употреблять. И повели этот спор отнюдь не ученые, не лингвисты; его повели писатели прежде всего, а за ними в обсуждение вступила и широкая общественность. В самые последние годы горячо обсуждается, например, вопрос, какие из существующих личных местоимений надлежит употреблять. И таких примеров можно было бы привести много. Важно отметить лишь одну характерную черту, обычно присутствующую в таких спорах по вопросам языка: объектом нападок всегда бывал письменно-литературный язык, характеризовавшийся притом как «реакционный», «феодальный». Усилившаяся же в Китае в 1918—1919 гг. борьба за оттеснение письменно-литературного языка из художественной литературы и публицистики была прямо объявлена «революцией».

Такие оценки появились потому, что каждый подъем движения против письменно-литературного языка всегда был сопряжен с новым общественным подъемом — с усилением борьбы за демократизацию общественного строя и культуры. Так, первый подъем движения за отказ от письменно-литературного языка в художественной литературе в Японии произошел во время буржуазно-либерального движения 70—80-х годов XIX в., когда после политической революции 1868 г. предстояло провести основные преобразования, открывавшие для Японии путь перехода от феодализма к капитализму. Первый подъем борьбы за разговорный язык в Китае произошел в 1919 г. в атмосфере «Движения 4 мая», как принято называть в Китае начавшееся тогда широкое демократическое движение, поставившее своей целью ликвидацию остатков феодализма в общественном строе и освобождение от гнета зарубежного империализма. Последняя по времени волна такого движения в Японии поднялась после поражения японского империализма и милитаризма во второй мировой войне,

в связи с вступлением широких масс японского народа в борьбу за проведение подлинно демократических преобразований. Последняя по времени волна этого движения в Китае была одним из последствий победы революции. О том, с чем связывались тогда вопросы языка, свидетельствуют слова Мао Цзэ-дуна, сказанные им в речи «Против шаблонных схем в партии» на собрании руководящих работников в Яньани 8 февраля 1942 г.: «Во время „Движения 4 мая“ люди новые выступили против того, чтобы писать на вэньянь, и призывали писать на байхуа. Они выступили против старых догм и призывали к науке и демократии. И в этом они были совершенно правы»².

Из всего этого обрисовывается третье положение, от которого должен исходить изучающий письменно-литературный язык в Китае и Японии: он должен учитывать тот факт, что общественное сознание в этих странах, представленное прогрессивными демократическими слоями, всегда связывало письменно-литературный язык со всем старым, мешающим социальному и культурному прогрессу.

2

Основным пособием для изучения родного языка в японской начальной школе служит «Хрестоматия» («Токухон»). Эта хрестоматия — собрание специально составленных или особо подобранных текстов, призванных служить образцами японского языка. Язык этих текстов — тот, на котором говорят учителя и учащиеся, т. е. разговорный. Необходимо добавить, однако, что этот язык может не совпадать полностью с тем, на котором говорят в некоторых местностях Японии ученики и даже учителя у себя дома, в своей семье, особенно, если эта семья — крестьянская. «Домашний» язык может быть местным диалектом, в школе же говорят на языке, которому учат по всей стране, который все понимают, на котором пишутся литературные произведения.

В тех разделах хрестоматии, какие изучаются в старших классах, время от времени после очередного текста дается одна-две фразы из этого текста в двух вариантах: в том, в каком эта фраза дана в тексте, т. е. в разговорном варианте, и в том виде, какой она должна принять в письменно-литературном варианте. Приведем пример такого сопоставления (верхняя строка — разговорный вариант, вторая — письменно-литературный, третья — значение каждого слова); в русском переводе это будет: «В городе Осака среди товаров, покупаемых за границей, больше всего риса».

О:сака	сидэ	гайкокукара	каиирэру	синамонова	комэга
О:сака	синитэ	гайкокуёри	каиуруру	синамонова	комэ
«Осака	в городе	из-за границы	покупаемые	товары	рис

итибан	о:и
моттомо	о:си
наиболее	многочисленен» ³ .

Из такого сопоставления учащийся узнает, что местный падеж существительного в разговорном языке оканчивается на *дэ* (*сидэ* — «в городе»), в письменно-литературном языке — на *нитэ* (*синитэ*); что исходный па-

² Мао Цзэ-дун, Избр. произвед., Харбин, Дунбэй шудянь, 1948, стр. 956 (на китайск. языке).

³ Пример взят из «Хрестоматии» 1907—1908 гг. См. Д. Позднеев, Токухон или книга для чтения и практических упражнений в японском языке, ч. 2, книги V—VIII, Иохохамы, 1908, стр. 145.

деж в разговорном языке оканчивается на *кара* (*гайкокукара* — «из-за границы»), в литературном — на *ёри* (*гайкокуёри*); что именительный падеж в одном случае оканчивается на *га* (*комэга* — «рис»), в другом имеет форму основы (*комэ*); что определительная (причастная) форма глагола *каиирэру* «покупать» в разговорном языке будет *каиирэру*, в письменно-литературном — *каиуруру*; что сказуемая форма прилагательного *о:и* («многочисленный») в одном случае — *о:и*, в другом — *о:си*; что, наконец, слово *итибан* «очень, наиболее» в письменно-литературном варианте лучше заменить словом *моттомо*. Учащийся видит, таким образом, что в разговорном и письменно-литературном языке различны окончания некоторых падежей, различны окончания некоторых форм спряжения глаголов и прилагательных и даже различны некоторые слова.

В японской начальной школе ограничиваются сравнительно немногим, но в средней школе изучение письменно-литературного языка развивается широко. В хрестоматию включается большое количество текстов — образцов этого языка. Насколько велики расхождения разговорного и письменно-литературного языков, можно судить по тому, что нужен особый курс грамматики письменно-литературного языка. Как же велико может быть расхождение в лексике, можно судить хотя бы по такому примеру: при «переводе» на разговорный язык фразы

<i>сайхай</i>	<i>хандзэн</i>	<i>бэцудзини</i>	<i>дзокусэри</i>
«успех и неудача»	явственно	к разным вещам	принадлежат»

одно слово *сайхай* следует заменить двумя словами — *сэйко*: и *сиппай*; слово *хандзэн* — словом *хаккирито*, слово *бэцудзини* — словосочетанием *бэцуно котони*, глагол *дзокусэри* — глаголом *наттэиру*; в последнем случае берется не только другое слово, но и другой вид одной и той же по значению глагольной формы⁴.

Хрестоматия является основным пособием при изучении родного языка и в Китае. Во многих хрестоматиях, предназначенных для средней школы, даются сразу два варианта текста: оригинальный — на письменно-литературном языке, и переводный — на разговорном языке. Приведем пример, русский перевод которого будет таков: «Однажды у всех лисиц не стало еды и они собрались выйти в поле и поискать еду»⁵.

Оригинальный текст:

<i>и</i>	<i>жи</i>	<i>чжун</i>	<i>хуа</i>	<i>ши</i>	<i>цзюэ</i>	<i>цзян-чу</i>
«один	день	многие, все	лисицы	еда	кончилась	собрались выйти
<i>е</i>	<i>цю</i>	<i>ши</i>				
поле	искать	еду»				

Перевод на разговорный язык:

<i>ю</i>	<i>итянь</i>	<i>суйдо</i>	<i>хуами</i>	<i>ляньши</i>		
«есть	однажды	многие, все	лисицы	провизия	(съестные припасы)	
<i>ваньла</i>	<i>тамынь</i>	<i>бянь-сян</i>	<i>чу</i>	<i>вай</i>	<i>сюнь</i>	<i>еши</i>
кончилась	они	задумали	выйти	наружу	искать	корм»

⁴ Пример взят из хрестоматии «Гэндайбун ё:кай», Токио, «Кэнсэйдо», 1927, стр. 94—95.

⁵ Пример взят из хрестоматии «Говэнь дубэнь», кн. 2, Шанхай, «Шицзе шу-цзюй», 1930, стр. 4—5.

Из сопоставления этих двух вариантов китайский школьник видит, что в письменно-литературном языке чуть ли не все слова — не те, которые он привык употреблять: вместо обычного *итянь* «однажды» стоят два слова — *и жи*; вместо *сюдо* «все, многие» стоит *чжун*; вместо *хуали* «лисицы» — *хуа*; вместо *лянши* «провизия» — *ши*; вместо *ваньла* «кончилась» — *цзюа*; вместо *сюнь* «искать» — *цю*; вместо *еши* «корм» — *ши*. Китайский школьник видит, что иными в письменно-литературном языке являются и некоторые грамматические формы. Форма совершенного вида глагола, в разговорном языке оканчивающаяся на *ла*, в письменно-литературном языке сохраняет форму основы. Несколько иным будет и построение фразы: не нужно слово *ю* «есть», которое в разговорном языке тут необходимо; не нужно и местоимение *тамынь* «они».

Из другого примера: *го е чжэ фэй и-эр жэнь-чжи го* «государство не есть государство одного-двух людей» — китайский школьник видит, что разговорному слову *годзя* «государство» в письменно-литературном языке соответствует *го*; что там, где в разговорном языке стоят два слова — отрицание *бу* «не» и связка *ши* «есть», в письменно-литературном языке стоит одно слово *фэй* как специально отрицательная связка⁶. Короче говоря, учащийся убеждается, что составители хрестоматии поступили правильно, назвав разговорный вариант «переводом на разговорный язык».

Приведенных примеров достаточно, чтобы не знающий китайский и японский языки мог составить себе некоторое представление о том, в чем именно заключается отличие письменно-литературного языка от разговорного и до какой степени оно доходит. Письменно-литературный язык обладает своим словарем, в значительной части — даже когда это касается «обычных» слов — не совпадающим со словарем разговорного языка; письменный язык имеет и свою грамматику, во многом отличающуюся от грамматики разговорного языка.

Что же это такое — этот письменно-литературный язык?

3

Письменно-литературный язык изучается по образцам. Образцы эти берутся из произведений как авторов нового и даже новейшего времени, так и из литературных памятников прежних эпох. Объясняется это тем, что такие публицисты и общественные деятели, как, например, Симада Сабуро: (1852—1923) в Японии или Лян Ци-чао (1874—1930) в Китае, фразы из произведений которых мы выше привели, в своих работах воспроизводили нормы старого языка.

Конечно, словарный состав текстов разных эпох может далеко не совпадать. Да и странно было бы ожидать, чтобы статьи об избирательном праве или профсоюзном движении, работы о дифференциальном исчислении или о вексельном курсе могли быть построены на старой лексике. С этой стороны очень характерен язык, которым писал Сунь Ят-сэн: по своему грамматическому строю это — типичный «вэньянь», письменно-литературный язык; по своей лексике это — современный китайский язык — язык, на котором говорят.

Впрочем, принадлежность какого-либо произведения по лексике к разговорному языку ограничивается главным образом пределами специальной лексики, соответствующей терминологии; когда же дело доходит до «общих» слов, вступают в силу нормы старого языка и в области словаря.

Что же такое этот старый язык? К какому времени он относится?

Когда изучаешь японские учебные хрестоматии, содержащие образцы

⁶ Хрестоматия «Говэнь дубэнь», кн. 2, стр. 33.

старого языка, бросается в глаза очень частое обращение составителей к «Цурэдзурэгуса» — одному из очень известных памятников литературы XIV в. Это — сборник коротких очерков, заметок, рассуждений на всевозможные темы — жизненные, исторические, философские. Принадлежит эта книга поэту, страннику, монаху Канэёси, более известному под монашеским именем Кэнко-хо:си. Язык этого произведения и подается как образец письменно-литературного языка.

Книга Кэнко-хо:си по своему языку не одинока: с этой стороны она показательна для целой полосы японской литературы XIII—XIV вв. После «Цурэдзурэгуса» чаще других памятников этой литературы в подобных хрестоматиях встречаются историческое повествование «Масу-кагами», также относящееся к XIV в., и «Ходзё:ки» — автобиографическая повесть начала XIII в. Таким образом, историческим образцом или моделью письменно-литературного языка Японии нового и новейшего времени является язык, зафиксированный в указанной литературе XIII—XIV вв.

Подобной исторической моделью для письменно-литературного языка в Китае нового и новейшего времени служит язык «восьми великих писателей Тан и Сун», т. е. прославленных поэтов, публицистов, историков времен танской и сунской династий. На первом месте среди них обычно стоят Хань Юй (768—823), Лю Цзун-юань (773—829), Оуян Сю (1007—1072) и Су Ши (1063—1101). Произведения этих писателей служат материалом для изучения письменно-литературного языка уже давно — со второй половины XVI в., когда известный литератор того времени Мао Кунь издал со своими примечаниями «Собрание избранных произведений восьми великих писателей Тан и Сун». И уже совершенно учебное применение произведения этих писателей получили в первой половине XVIII в., когда появилась составленная Шень Дэ-цзянем «Хрестоматия из произведений восьми великих писателей Тан и Сун». В какой мере язык этих писателей служил образцом того, как нужно писать, для литераторов последующего времени, можно судить по словам Лу Синя, который, говоря о писателях второй половины XIX в. и даже начала XX в., сказал, что «они, если не подражали Хань Юю, то подражали Су Ши»⁷. При этом Лу Синь имел в виду не столько содержание, сколько именно язык. Таким образом, исторической моделью письменно-литературного языка Китая нового и новейшего времени является язык, зафиксированный в произведениях указанных писателей VIII—XII вв.

Что же сделало в глазах последующих поколений язык литературы более ранней исторической эпохи классическим письменно-литературным языком? Ответ на этот вопрос дает история языка.

История литературного японского языка — в том виде, в каком она отражена в дошедших до нас памятниках, начиная с VIII в., — свидетельствует, что язык этот прошел своеобразный путь развития.

Вплоть до XX в. держались в японской письменности застывшие нормы литературного языка, оформившегося еще в VIII—XII вв. Однако живой разговорный язык, развивая свою фонетическую, лексическую и грамматическую систему, на протяжении столетий вел упорную борьбу с архаическими формами письменности и вытеснил их, в конце концов, почти полностью из всех стилей литературно-письменной речи. Выше были приведены примеры одного и того же текста в вариантах письменно-литературном и разговорном. Указанные там различия этих двух вариантов в лексике и грамматике и являются различиями этих двух систем.

⁷ См. речь на тему «Безмолвный Китай», произнесенную в Гонконге 16 февраля 1927 г. [Лу Синь, Собр. соч., т. IV, стр. 24 (на китайск. языке)].

Здесь нет возможности сколько-нибудь обстоятельно описывать каждую из систем. Поясним сказанное лишь в самой общей форме и притом на примере грамматического строя, взяв в нем то, что составляет один из важнейших его разделов: систему глагола и прилагательного.

На всем протяжении истории японского языка сохраняется неизбле-мым одно положение: наличие у глагола и прилагательного ряда общих грамматических черт. Эти общие черты — наличие и у глагола, и у прилагательного в равной мере сказуемых, определительных и обстоя- ственных форм; способность глагола и прилагательного иметь формы вре- менные и модальные. Конечно, внешние выражения этих грамматических форм у глагола и прилагательного различны, не все эти формы в обоих случаях одинаково развиты; кроме того, и глагол, и прилагательное имеют и свои особые, присущие только каждому из них грамматические формы. На этом основании они и не сливаются в одну лексико- грамматическую категорию. Но в то же время наличие указанных общих черт не позволяет и полностью отъединять их друг от друга.

Таким образом, общая грамматическая характеристика глагола и при- лагательного остается неизменной на всем протяжении истории японского языка, но внешние выражения отдельных форм, степени их развития, а также сама их система меняются. Так, в старом языке система глаголь- ного спряжения основана на особой форме для каждой функции глагола в предложении. Поэтому имевшее там место противопоставление форм сказуемой и определительной обусловило включение в систему гла- гольных форм и причастия. В современном языке это противопоставле- ние исчезло, в связи с чем исчезла и почва для выделения причастия, что в свою очередь повлияло и на характер структуры определительного пред- ложения. Модальность в старом языке получила свое развитие в системе наклонений; в современном языке не только изменились эти формы внешне, но — что важнее — некоторые виды модальности выпали из системы грамматической модальности вообще, чем и была разрушена ее прежняя система.

О том, насколько различны сами грамматические формы в старом и со- временном языке, могут дать представление хотя бы такие примеры.

Прошедшее время в старом языке имело две формы; например, от гла- гола *тору* «брать» эти формы будут: *торики* и *торитарики*. В современ- ном языке прошедшее время (изъявительного наклонения) имеет только одну форму *totta*. Будущее время в старом языке имеет форму *toran* (*тораму*), в современном — *торо*:. Отрицательные формы глагола в старом языке образуются при помощи спрягаемого суффикса *дзу*, в современ- ном — при помощи *най*, так что «не беру» в старом языке будет *торадзу*, в современном — *торанай*; «не брал» в старом языке — *торадзарики*, в современном — *торанакатта*. Сказуемая форма прилагательно- го в старом языке имела окончание *си*, определительная — *ки*; в совре- менном языке обе эти формы стали одинаковыми и получили оконча- ние *и*.

Конечно, в истории японского языка подобные изменения зарожда- лись и развивались постепенно; к тому же изменения шли не по всему фронту языка, а появлялись в разное время и на разных участках, и в те- чение долгого времени обычно существовали две формы — прежняя и но- вая; иногда новая форма не удерживалась и вновь восстанавливалась в полной силе старая.

Так, например, старая система глагольного спряжения складывалась на протяжении длительного времени — нескольких веков и в течение столь же длительного времени она постепенно изменялась в новую, и в самой этой новой системе отложились многие черты старой. Поэтому

когда мы говорим о системе старого или современного языков, то имеем в виду историческую форму языка, получившую наибольшую определенность и устойчивость в большинстве своих явлений.

Следует, однако, сказать, что и в этом случае мы имеем некоторый отход от живой, разговорной речи. Определенность и устойчивость обуславливаются, конечно, реальной картиной языка, но особую силу эти качества получают в письменном выражении, в литературе. Письменная фиксация уже сама по себе есть орудие, вносящее определенность и могущее содействовать устойчивости. Определенность и устойчивость действуют при этом не только в сфере письменного языка, но и в сфере разговорного, поскольку зафиксированные в письме языковые формы приобретают значение образцов языка, его норм.

Именно такую картину мы и наблюдаем в истории японского языка VIII—XIV вв. По памятникам литературы этих веков мы можем проследить, как постепенно обнаруживается большая устойчивость одних форм, меньшая — других. При сравнении же языка произведений книжной литературы с языком произведений, которые ближе к общенародной речи, в последнем наблюдается более частое употребление разнообразных языковых форм. Так, если сравнить язык упомянутого выше памятника «Цурэдзурэгуса» с языком «кё:гэн» — народных фарсов XIV—XV вв., окажется, что в языке этих фарсов присутствует ряд элементов, которые в дальнейшем стали нормой нового языка. Поскольку язык фарсов вне всякого сомнения передает живую речь своего времени, постольку из такого наблюдения мы можем сделать вывод о факте некоторого расхождения между языком «большой» литературы XIV в. и языком чисто разговорным. Расхождение это заключается в том, что в разговорном языке наряду с теми формами, которые мы видим в литературе, присутствовали и другие. Так, например, в речи персонажей фарсов мы встречаем и разные формы для глагола в определительной и сказуемой позиции, и одну и ту же форму для обеих этих позиций. Но сама возможность беспрепятственного пользования либо двумя формами, либо одной свидетельствует о том, что никаких затруднений для понимания такие факты не представляли.

Таким образом, в языке «Цурэдзурэгуса» и подобных ему литературных произведений XIII—XIV вв. мы находим как бы итог предшествующего развития японского языка — итог, представленный в тех его формах, которые выдержали длительное испытание языковой практикой и приобрели устойчивость, позволившую этим формам в их совокупности и в их соотношениях образовать определенную систему.

Устойчивость эта была определена общественной практикой, но в деле создания такой устойчивости известную роль сыграла и письменность, литература.

Как показывают наблюдения над историей японского языка, язык литературы может сыграть серьезную роль в укреплении наиболее пригодных, устойчивых языковых форм при наличии двух условий: если язык этой литературы вмещает в себя весь важнейший языковой опыт и если эта литература имеет в эпоху своего бытия крупную и притом прогрессивную значимость.

Произведения указанного типа японской литературы XIII—XIV вв. удовлетворяют обоим этим условиям.

Если мы сравним язык «Цурэдзурэгуса» с языком «Гэндзи-моногатари» — знаменитого романа конца X—начала XI в., то с первого же взгляда увидим, что это — не совсем одно и то же. Язык «Гэндзи-моногатари» и других прославленных, так называемых «хэйанских», романов IX—XI вв. — полностью разговорный. Его грамматическая система — та же,

что и в «Цурэдзурэгуса». Прошедшее время глагола образуется так же, имеет то же окончание, как и в «Цурэдзурэгуса»; так же и во всем прочем в области морфологии. Но в области синтаксиса, в построении предложения в «Цурэдзурэгуса» обнаруживается склонность к более коротким синтаксическим построениям, к более экономным средствам выражения. Еще больше бросаются в глаза отличия в лексике. В целом в своей основной массе — она одна и та же, но в «Цурэдзурэгуса» много слов, идущих из китайского языка, в то время как в «Гэндзи-моногатари» их очень мало.

Такого рода факты показывают, что общие нормы языка, о котором говорилось выше, складывались на основе двух источников: из чисто разговорной и из книжной речи. Мы знаем источники этой книжной речи: все образование в Японии VIII—XII вв. было построено на изучении китайской литературы — исторической, законодательной, политической и художественной.

Знаем мы и как велось обучение: оно было основано на переводе и толковании тех или иных китайских текстов. При этом старались при переводе сохранить почти все слова китайского оригинала и давать конструкцию фразы по возможности близкую к китайской. В связи с этим в школе создался особый переводческий жаргон, впоследствии превратившийся в один из стилей письменно-литературного языка, так и получивший наименование «стиля буквального перевода с китайского» («камбун-тёку-якутай»).

Постепенно все большее и большее число слов этой китайской литературы переходило из специального обихода в общее употребление, входило в общий язык. Вместе с ними переходили и некоторые синтаксические обороты. К XIII в. этот — первоначально книжный — пласт в японском языке уже занял заметное место. Те особенности в языке «Цурэдзурэгуса» сравнительно с языком «Гэндзи-моногатари», о которых говорилось выше, принадлежат именно этому пласту.

Указанные лексические заимствования, позволившие широко развернуть в японском языке общественно-политическую, философскую лексику, обогатили словарный состав японского языка. И естественно, что обогащение лексики сказалось прежде всего не в нравоописательных романах, а в произведениях типа «Цурэдзурэгуса», т. е. в рассуждениях на всевозможные темы общественной жизни, в изложении взглядов и мыслей по разным идеологическим вопросам. Поэтому язык «Цурэдзурэгуса» действительно является итогом всего развития японского языка до того времени.

Несомненна и общественная значимость подобных произведений японской литературы XIII—XIV вв. В эти столетия Япония вступила в полосу феодальной раздробленности, вступила в огне почти непрерывавшихся столкновений отдельных групп феодалов, крестьянских волнений. Особенной силы эта внутренняя борьба достигла в середине XIV в. Как «Цурэдзурэгуса», так и «Масу-кагами» принадлежат именно данной эпохе. «Масу-кагами» повествует о самих событиях этих десятилетий, «Цурэдзурэгуса» излагает взгляды, суждения, мнения, вкусы людей того времени. С этой стороны «Цурэдзурэгуса» — настоящая художественная энциклопедия мировоззрения и умонастроений наиболее образованных и вдумчивых представителей японского общества XIV в.

Таковы те историко-лингвистические, общественно-исторические и литературно-художественные основания, которые позволяют видеть в языке этих произведений литературный язык средневековой Японии. Такова историческая модель письменно-литературного языка Японии нового и новейшего времени.

4

Что представляет собою историческая модель письменно-литературного языка Китая нового и новейшего периодов, того языка, который в Китае именуется «вэньянь»? Выше мы указали, что эта модель — язык «восьми великих писателей Тан и Сун», т. е. язык крупнейших писателей VIII—XII вв. Что же такое — для своей эпохи и в общей истории китайского языка — язык их произведений?

Первое, что мы должны определить, это — отношение языка произведений указанных танских и сунских писателей к живому, разговорному языку их времени.

Как было указано выше, и Хань Юй, и Лю Цзун-юань, и Су Ши, и прочие литераторы из плеяды «восьми великих» — поэты, публицисты, философы. Их прозу мы назвали бы статьями, очерками, трактатами. Диалогическая речь, которая лучше всего передает разговорный язык, в них отсутствует.

Устанавливать их отношение к разговорному языку той эпохи можно поэтому путем сопоставления с другими литературными памятниками, где диалогическая речь существует, где вообще язык несет на себе явную печать разговорной стихии. Такие памятники есть: это — повествовательная литература VIII—XII вв., прежде всего — так называемая «танская новелла».

Новеллы, относящиеся к танскому времени, т. е. к VII—X вв., построены на сюжетах из обычной жизни, вполне реалистичны. Мы видим в них людей того времени, слышим их речь. Очень известной новеллой является «Повесть об Ин-ин» — рассказ о любви двух простых людей⁸.

Автор ее — Юань Чжэнь. Друг знаменитого поэта танского времени Бо Цзюй-и (772—846) и брата последнего — Бо Син-цзянь (775—826), Юань Чжэнь был и сам не только новеллистом, но и поэтом. Мы знаем, что они все входили в одно литературное содружество того времени. Таких содружеств, дружеских кружков литераторов тогда в обеих столицах танской империи — Чанъане и Лояне — было много. Эти кружки были наиболее распространенной формой литературно-общественной жизни. Бо Син-цзянь был также поэтом и новеллистом. Одну из его новелл «Повесть о прекрасной Ли» можно прочесть и в русском переводе⁹.

Несомненно, что язык этих новелл — язык их авторов, язык, на котором говорили Бо Син-цзянь и Юань Чжэнь и их литературные друзья, говорили все литераторы — представители интеллигенции средневекового феодального Китая. Говорили же они на том языке, на котором говорило почти двухмиллионное население главной танской столицы — Чанъаня. Это был наиболее общий для Китая того времени язык.

И вот, сопоставляя язык этих новелл с языком статей «восьми великих», нетрудно усмотреть, что с учетом различий, вызванных различием жанров, это — один и тот же язык. Поэтому и можно сказать, что язык «восьми великих» не был оторван от живой, разговорной стихии своего времени.

В биографии Бо Цзюй-и рассказывается, будто бы поэт решался на опубликование своего стихотворения только после того, как прочитывал его своей старой няньке и убеждался, что она все понимает. Конечно, подобный рассказ не более чем один из анекдотов, обычно влетаемых в биографии прославленных писателей, но все же он заслуживает внимания:

⁸ О ее содержании мы можем судить по пьесе «Пролитая чаша», идущей в Москве: пьеса представляет собою сценическую переделку именно этой новеллы.

⁹ Бо Син-цзянь, Повесть о прекрасной Ли (перевод с китайского), «Восток», сб. 1, «Academia», 1935, стр. 139—162.

интересна сама мысль о том, что язык писателя должен проверяться языком простого народа. Такая мысль не могла появиться без реальной почвы: язык стихотворений Бо Цзюй-и был действительно языком своего времени. И если таков был язык поэзии, то тем более близким к разговорному языку был язык прозы. А все эти писатели, повторяем, принадлежали к одному и тому же общественному слою — интеллигенции большого города средневекового феодального Китая.

Для характеристики языка этих писателей очень важны некоторые факты. Первый из них идет из истории грамматики, второй — из истории поэтики.

Как довольно широко известно и неспециалистам по китайскому языку, в старом феодальном Китае существовала своя грамматическая наука, развивавшаяся без влияния каких-либо грамматических теорий Запада. В основу грамматической системы в этой старой науке были положены некоторые языковые категории, существование которых было отмечено старыми грамматистами. Вначале это были категории «полных знаков» («шицзы») и «пустых знаков» («сюцзы»). Ввиду того, что слово в глазах этих грамматистов всегда прочно связывалось с письменным знаком, «знак» в этих терминах следует понимать как «слово».

Под «полным» разумелось такое слово, которое несет в себе определенное вещественное и притом самостоятельное значение; под «пустым» — слово, которое такого вещественного значения не имеет. Европейские китаеведы считают, что термин «полное слово» соответствует нашему «знаменательному слову», «пустое слово» — «служебному».

Такое деление слов на две принципиально различные группы и создало почву для построения старой китайской грамматической системы. Ее сущность заключалась в том, что знаменательные слова, вступая в речи в определенные взаимоотношения друг с другом, нуждаются в служебных словах; они нуждаются в таких словах и в случае какого-либо изменения в своем значении. Таким образом, под «пустыми словами» разумелись все грамматические элементы языка, и грамматика сводилась поэтому к анализу функций этих грамматических элементов.

Изучение грамматического строя китайского языка строилось главным образом на данных языка танских и сунских писателей. Хрестоматия избранных сочинений этих писателей была, как мы указали выше, главным пособием в школьном образовании. Да и сами писатели XVIII—XIX вв. писали, по словам Лу Синя, «если не подражая Хань Юю, то подражая Су Ши». Поэтому такое грамматическое учение по-своему отражает грамматический строй китайского языка VIII—XII вв.

Известная разработанность этой старой грамматики и несомненная ее внутренняя стройность и законченность не могли бы получиться, если бы самый материал не давал для этого данных. Мы, подходя к этому материалу иначе, чем старые китайские грамматисты, со своей стороны, можем только подтвердить исключительную разработанность и цельность языка «восьми великих» танского и сунского времени.

Хорошо известно также, что и вся классическая поэтика в Китае построена прежде всего на материалах языка танских и сунских писателей. На произведениях танских поэтов учились писать поэты XVIII—XIX вв.; изучая приемы построения статей, трактатов, этюдов танских и сунских писателей, прозаики XVIII—XIX вв. учились, как нужно строить общую композицию сочинения, изучали существующие приемы экспозиции, развития сюжета, концовок и т. д. Коротко говоря, знакомясь с классической поэтикой Китая, мы фактически знакомимся главным образом с тем, что китайские исследователи нашли у танских и сунских авторов.

Эти факты позволяют сделать существенный вывод: язык «восьми ве-

ликих» писателей танского и сунского времени по своему качеству давно приобрел значение грамматической и стилистической нормы. Мы вправе поэтому видеть в нем литературный язык Китая VIII—XII вв. Таким образом, исторической моделью письменно-литературного языка Китая нового и новейшего времени был литературный язык средневекового феодального Китая.

Однако к сказанному необходимо сделать одно существенное добавление: в языке танских и сунских авторов есть и другие элементы. Они идут из книжных источников.

Хань Юй — поэт, публицист, философ танской эпохи — провозгласил лозунг, ставший знаменем не только его собственной деятельности, не только общим знаменем его времени, но и знаменем всей танской и сунской эпохи, т. е. VIII—XII вв. Лозунг этот — обращение к «литературе древности» («гу вань»).

«Литературой древности» была для Хань Юя и его последователей действительно древняя и для них литература Китая VII—IV вв. до н. э.: «Ши-цзин» («Книга песен»), «Шу-цзин» («Книга истории») и другие древние памятники, из которых впоследствии сложились так называемые «классические книги» конфуцианства. Древностью для танских и сунских писателей были и последующие столетия, когда жил первый великий поэт Китая — Цюй Юань (340—278 гг. до н. э.), «отец истории» в Китае — Сыма Цянь (145—86 гг. до н. э.), крупнейший мастер «поэм в прозе» — Сыма Сян-жу (179—118 гг. до н. э.). Произведения этих и некоторых других писателей тех же столетий и составили для Хань Юя и его соратников «литературу древности».

Оставляя пока в стороне вопрос об историческом смысле такого обращения к древности, укажем здесь лишь, что в результате этого обращения, сопровождавшегося интенсивным изучением древней литературы, на языке танских и сунских писателей отразилось влияние языка указанных произведений древности, т. е. языка совсем другой эпохи.

При той общей неразработанности истории китайского языка, особенно — его грамматического строя, которая существует в науке до сих пор, нам трудно определить существо и степень грамматических отличий языка древнего Китая и языка средневекового Китая. Но все же, наблюдая следы древнего языка в языке танских и сунских писателей, мы видим, что многие конструкции этого древнего языка легко вместились в рамки языка средневекового. С другой стороны, изучение грамматических трактатов старых и новых китайских авторов, посвященных письменно-литературному языку («ваньянь»), показывает, что в них широко используются примеры и из древних письменных памятников. Поэтому предполагать какую-то серьезную разобщенность литературного языка древнего и средневекового Китая невозможно, хотя во многих отношениях этот древний язык отличался от средневекового и был для китайцев времен Тан и Сун языком древней книжности. Поэтому мы и позволяем себе рассматривать элементы, перешедшие из древнего языка в язык танских и сунских писателей, как идущие из книжного источника.

Однако та легкость, с которой эти элементы вошли в язык VIII—XII вв., свидетельствует, что танские и сунские авторы взяли от древнего языка именно то, что сохраняло свою значимость и для последующих времен; иначе говоря, — то, на чем держалась общая направленность языкового развития. Поэтому мы можем считать, что язык писателей времен Тан и Сун был своего рода итогом развития и нормализации наиболее устойчивых и жизненных элементов китайского языка. Нельзя не видеть в этом одну из причин, по которым этот язык стал литературной нормой, приобрел значение литературного языка средневекового Китая.

Для полного понимания существа этого литературного языка следует, однако, учитывать и еще одно обстоятельство, а именно: некоторое расхождение его с чисто разговорным языком той же эпохи. В этом мы убеждаемся, сопоставляя произведения танских и сунских авторов, даже такие из них, как, например, новеллы, которые наиболее близки к разговорному языку, с так называемыми «сборниками изречений» («юй лу») и «книжками рассказов» («хуа бэнь») времен Сун (X—XII вв.).

В языке этих памятников так называемой «народной литературы» есть ряд явлений, отсутствующих в языке указанных писателей.

Мы хорошо знаем, что приблизительно с XIII в. начинается новая полоса в истории китайского языка, конечным этапом которой является современный китайский национальный язык. Эта полоса связана с развитием так называемой «народной литературы»: народной песенной поэзии, рассказа, драмы. Все ставшие знаменитыми китайские романы и драмы появились именно после XIII в. И характерный признак их — со стороны языка — то, что они были написаны на «байхуа», т. е. на разговорном языке своего времени.

Если брать этот новокитайский язык, как его можно условно называть, в позднейшем его развитии, то наиболее существенным его отличием в грамматическом отношении от средневекового языка будет, как нам представляется, следующее.

Выше мы указали, что грамматическое учение средневекового языка было построено на противопоставлении двух языковых категорий: «полных слов» и «пустых слов». Грамматическое учение нового времени должно было от этого отойти: вместо двух основных категорий в языке были обнаружены три. Две из них назвали прежними терминами — «ши цзы» и «сюй цзы»; третью — новым термином: «чжу цзы»¹⁰.

Однако эти прежние термины получили иное значение. Слово *ши* в термине «ши цзы» имеет значение и «полный», и «действительный», «реальный»; слово *сюй* в термине «сюй цзы» значит и «пустой», и «отсутствующий в действительности». Соответственно этим вторым значениям термин «ши цзы» стал пониматься как «слова, обозначающие предметы», «сюй цзы» — как «слова, обозначающие действия и свойства предметов». Такое понимание связано с представлением старых китайских грамматистов о том, что существование присуще лишь предмету; что же касается действия или свойства, то они отдельного от предмета существования не имеют¹¹.

Но за этим толкованием скрывалось грамматическое наблюдение: было замечено, что появление того или другого «сюй цзы», т. е. «служебного слова» в прежнем понимании, зависит от того слова, которое этим служебным словом, так сказать, обслуживается. Иначе говоря, были подмечены служебные элементы, связанные с категорией имени, и служебные элементы, связанные с категорией действия и качества. Намечался путь к выделению морфологии имени, с одной стороны, и морфологии глагола и прилагательного — с другой.

Такого рода грамматическое учение, естественно, не могло возникнуть, если бы не было в языке фактов, наталкивавших на него. И эти факты были новыми по сравнению с языком танских и сунских авторов.

Повторяем, что изложенное касается китайского языка более позднего времени; в сунских народных рассказах и сборниках изречений факты такого рода еще не получили полного утверждения и сосуществовали с фактами, представленными в языке танских и сунских писателей. По-

¹⁰ См., например, специальный трактат об этих «служебных словах» — «Чжу юй цы» автора Лу И-вэй (последняя четверть XVI в. — первая четверть XVII в.).

¹¹ См. грамматику китайского языка «Бумпо:сё» японского китаевода 2-й половины XVIII в. Ходзуми Икан.

этому никакого затруднения для понимания они не представляли. К тому же язык сунских народных рассказов относился к просторечию того времени и указанные элементы были, следовательно, характерны только для этой сферы языка. Но все же следует признать, что литературный язык средневекового Китая, представленный танской новеллой и произведениями «восьми великих», включал в себя только наиболее устоявшиеся, отработанные и оправдавшие себя общественной практикой языковые нормы, т. е. был именно тем, что мы и называем литературным языком.

Такова историческая модель письменно-литературного языка Китая нового и новейшего времени. Необходимо отметить, что значение такой модели литературный язык средневекового Китая получил и вследствие общественной значимости литературы его представителей. Выше мы указали, что Хань Юй провозгласил лозунг обращения к «литературе древности». Этот лозунг стал знаменем целой большой эпохи, охватившей VIII—XI вв. Стали возрождаться из забвения старые классики, их стали переиздавать, изучать, комментировать. Их цитировали на каждом шагу. Ими подкрепляли свои мнения и соображения. Началось настоящее возрождение древности.

Что влекло к этой древности? Что искали в произведениях VII—II вв. до н. э. философы, публицисты, поэты VIII и последующих веков? Ответ на это дает тот, кто первый призвал к обращению к древности, — Хань Юй: в них искали тот гуманизм, который стремились сделать содержанием своей эпохи эти танские и сунские писатели и мыслители.

Хань Юй в своем небольшом трактате «О человеке» первый провозгласил, что человек — высшая ценность всего бытия, что в нем сосредоточивается все бытие. «Небо» для него — только «солнце, луна, планеты, звезды»; «Земля» для него — только «травы, деревья, горы, реки». А все между ними — все живущее, живое, действующее — сосредоточено в человеке. В другом своем трактате «О пути» Хань Юй сформулировал второе положение китайского гуманизма VIII в. Это положение — «всеобщая любовь», т. е. любовь ко всем. Такая любовь ко всем, по представлениям Хань Юя, должна быть основой всей жизни общества, его прогрессивного развития.

Подобные идеи были для средневекового Китая того времени новы и означали большой шаг вперед. А к чему они приводили в творчестве, свидетельствует поэзия Бо Цзюй-и, вся пронизанная таким гуманизмом. Этот гуманизм и обусловил огромную общественную значимость произведений танских и сунских авторов, значимость, далеко вышедшую за пределы их эпохи. Тем самым была подкреплена и значимость языка их произведений — литературного языка средневекового Китая.

5

Мы надеемся, что вышеприведенное изложение раскрыло существо того явления, которое именуется в современном Китае «вэньянь», в Японии «бунго», т. е. письменно-литературным языком. Почему же он вызвал страстные протесты и в конце концов должен был сойти со сцены?

Ответ на этот вопрос, как мы полагаем, ясен и без особых объяснений: этот язык оказался непригодным для людей новейшей эпохи. Непригодным он оказался прежде всего потому, что он уже устарел. И устарел во всех своих важнейших элементах: и по лексике, и по грамматическому строю. Из литературного языка он превратился в письменно-литературный язык.

Выше мы в общих чертах уже охарактеризовали, в каком направлении пошло развитие китайского и японского языков в новое время. Новые

черты приобрел грамматический строй, бурным потоком вторглась в языковую действительность новая лексика. Вопрос, казалось бы, можно было решить просто: начать писать так, как говорили. Но на этом пути встали два препятствия: недостаточная разработанность «байхуа» в Китае и «ко:го» в Японии и особенности общественного строя.

Литература на языке нового времени стала развиваться в Китае с XIII в. и к концу XIX в. насчитывала уже огромное количество романов, рассказов, драм. Но все прочие отрасли письменности правящий класс феодального Китая крепко держал в своих руках. Поэтому закон, политический и экономический трактат, философское сочинение, т. е. вся «серьезная» литература, должны были быть написаны на языке «классиков». Даже «высокая» поэзия и художественная проза, и те не имели права спускаться до уровня «простого языка», просторечия. Тем самым старый литературный язык был призван поддерживать китайский феодализм. Этим и объясняется, что борьба за новый Китай втянула в свою орбиту и язык.

Те же условия очень долго удерживали старый литературный язык и в Японии. И он для людей нового времени устарел, перестал быть понятен. Из литературного языка он превратился в письменно-литературный. В течение XVII—XIX вв., в последний период японского феодализма, в Японии выросла огромная литература городских сословий, пользовавшаяся главным образом живым разговорным языком того времени. Этим языком писались романы, рассказы, в меньшей степени — театральные пьесы. На этом языке выросла обширная область «устного рассказа» — крайне популярного в народной среде эстрадного жанра. Но, как и в Китае, в другие области письменности, контролируемые правящим классом феодалов, разговорный язык, как «просторечие», не допускался. Поэтому и текст закона, и трактат по экономике, политике, философии, если все они не писались вообще по-китайски, были написаны на старом литературном языке. Этот старый язык стал одним из орудий монополизации правящим классом просвещения, образования; правящий класс прочно связал его с самим собой. Понятно после этого, что когда в Японии в 1868 г. произошла буржуазная революция, правда, незавершенная, но все же переведшая страну на путь капиталистического развития, борьба с остатками феодализма, которую повела молодая, тогда еще радикально настроенная буржуазия, включила в число своих объектов и старый литературный язык, уже давно ставший, как мы сказали выше, письменно-литературным языком. Но тот факт, что и в капиталистической Японии основой власти стал реакционный блок крупной буржуазии и помещиков, обусловил и половинчатость позиций буржуазии, быстро утратившей свой первоначальный радикализм, и упорство правящих классов в отстаивании письменно-литературного языка. Выше мы обрисовали, как долго держался этот язык в официальном обиходе. Только напор демократических масс после поражения японской реакции во второй мировой войне вынудил правящий класс уступить позиции и в данной языковой области — последней, которую этот класс еще держал в своих руках.

Развитие системы нового языка, в полной мере обнаружившееся в Японии с конца XVI в., привело к тому, что к концу XIX в. в этом языке уже существовали вполне сложившиеся нормы — как в области лексики, так и в сфере грамматики. Тем самым уже существовали условия для образования нового литературного языка. Такой язык и существует в Японии. Он называется «образцовым» («хэйдзюнго»).

За долгое время развития нового языка в Китае также образовались свои устойчивые нормы, подготовившие образование и нового литературного языка. Процесс такой подготовки зашел так далеко, что позволил

Лу Синю — этому основоположнику современной китайской литературы — уже в конце второго десятилетия XX в. создавать произведения, фиксирующие этот новый литературный язык. Он именуется в Китае «байхуа», т. е. тем же словом, которое ранее обозначало «разговорный язык» и даже «просторечие». Таким перенесением термина как бы подчеркивается единство языковой сферы современного литературного и разговорного языков.

*

Из сказанного можно сделать, как нам кажется, следующие выводы:

1. Литературный язык — явление историческое, закономерно подвергающееся существенным изменениям на каждом большом этапе истории языка, этапе, характеризуемом определенностью и устойчивостью всех важнейших элементов языка, складывающихся в некую систему. Поэтому в истории какого-либо народа может быть несколько различных по времени исторических форм литературного языка.

2. Литературный язык для своего окончательного оформления нуждается в литературе. Поэтому о литературном языке мы вправе говорить только тогда, когда такая литература существует.

3. Значение литературного языка как определенной языковой нормы подкрепляется общественной значимостью той литературы, в которой он зафиксирован.

4. Ввиду того, что общественная значимость данной литературы с изменением исторических условий может меняться, изменяется и общественное отношение к литературному языку, зафиксированному в этой литературе: при переходе к новому этапу общественного развития литературный язык, связанный с литературой, характерной для уходящего этапа, воспринимается как неприемлемый для нового общественного развития.

5. Литературный язык, образовавшийся в средневековый период, и литературный язык, образовавшийся в новое время, различны по диапазону своего действия и, следовательно, по степени своего общественного значения.

Это связано с общим состоянием языка: как языка народности в первом случае, как языка нации — во втором. В первом случае общественная значимость литературного языка ограничена определенными общественными слоями, главным образом — господствующим классом; во втором случае он получает всенародное значение, которое становится тем более эффективным, чем решительнее идет процесс демократизации общественного строя.

6. Антагонистическое противопоставление старого и нового литературного языков не может удерживаться долго. Помимо общей исторической преемственности, связывающей новый литературный язык со старым, новый литературный язык и практически — в своем развитии — должен обращаться к старому. В приложении к новому литературному языку в Китае об этом хорошо сказал т. Мао Цзэ-дун: «...мы должны еще учиться тому живому, что есть в языке наших предков. Мы недостаточно усердно учились языку, а потому пока еще не использовали в полной мере и рационально то многое в языке наших предков, что еще жизнеспособно. Конечно, мы решительно против использования уже отмершей лексики и отмершей фразеологии — это бесспорно, но воспринять все хорошее, годное мы должны»¹².

¹² Мао Цзэ-дун, Избр. произвед. (перевод с китайского), т. 4, М., Изд-во иностр. лит-ры, 1953, стр. 104.